**Песенно-поэтическое творчество иеромонаха Романа (Матюшина): духовное содержание и образный строй**

Ничипоров И. Б.

Творчество иеромонаха Романа (Матюшина) явило собой уникальный вариант бардовской поэзии, получившей интенсивное развитие в России второй половины ХХ в. Его произведения рождались на стыке древнейшей традиции молитвенного псалмопения, фольклорной культуры, вековых пластов русской духовной лирики (от Ломоносова, Державина до Тютчева и позднего Пастернака), на почве знаменательного переосмысления традиций отечественной поэзии ХIХ-ХХ столетий.

Сама поэзия предстает в песнях о.Романа как особая ипостась молитвенного делания, Богообщения. В ряде стихотворений ключевым становится сокрушенное обращение лирического "я" к собственной душе, стремящейся освободиться от унылой Богооставленности. В стихотворении "И обошли стороною…" (1991) раздумья о пройденном "пути утрат", соединяясь с напряженной рефлексией о крестном пути Христа ("Много са-дов, но выбрал // Он Гефсиманский сад"), оказываются созвучными образности Псалтири:

… Воды, взыдоша воды,

Мрак над моей главой…

Больно, душе? Да что ты!

Будто тебе впервой! (1,34)

Символическое овеществление образа души, уподобляемой то "потерянной драхме при дороге", то дому, "исполненному нечистоты и мрака", происходит и в близких притче стихотворениях "Не сохранила Божье, не сумела…" (1994), "Исполнился мой дом нечистоты и мрака…" (1995). В первом нелегкий поиск Бога, постепенное молитвенное освещение "потерянной драхмы" составляет сердцевину лирического сюжета. Во втором же неторопливое течение мерного шестистопного ямба, органичное соединение старославянизмов и народно-поэтической стилистики ("В чем горюшко твое?") сопутствуют развитию образного параллелизма между душевной жизнью и напоминающим о Творце бытием созданного Им мира:

Исполнился мой дом нечистоты и мрака

Хозяин занемог, и ночь зело темна.

Не потому ль вчера так безутешно плакал

Какой-то сирый птах у моего окна? (1,136).

Молитвенный настрой конденсируется в песнопениях о.Романа и в образе священнобезмолвия, "неизреченных глаголов", рождающихся в душе лирического "я". Так, в стихотворениях "Хочу молчать, за всех и вся смиряясь…" (1994), "Неизреченные глаголы" (2001) развертывается идущий от Жуковского, Тютчева мотив словесной невыразимости глубин душевной жизни, который проецируется здесь на процесс молитвенного Богопознания. Тютчевская возвышенно-риторическая стилистика сращена у о.Романа со скорбно-лирическими интонациями, которые в сочетании с тихим, мягким звучанием гитарных струн создают неповторимую атмосферу интимного размышления о Боге, негромкого разговора, исподволь вовлекающего в эту атмосферу душу, ищущую укрепления в вере: "О тишина! О мрак Богопознанья, // Затмивший жалкий человечий свет…" (1,84). Тютчевской же поэзии созвучны здесь тяготение словесной формы к максимальной сжатости, афористичности, параллелизм души и природной жизни. Молитвенные "неизреченные глаголы" противопоставлены о.Романом гордому многословию:

Не может тайна быть явленной,

Не светит солнышко в нощи.

На то они – неизреченны,

Что невозможно изрещи. (2,123).

Художественно прочувствованное молитвенное действо напрямую соотнесено в поэзии о.Романа с вехами церковного календаря, богослужебной практикой. В этой связи стоит выделить произведения, прямо или косвенно связанные с великими праздниками ("А завтра – Вознесение Христово…", 1996, "Благовещение", 2001), а также поэтический цикл 2001 г., охватывающий путь от Вербного Воскресения до Пасхи, от страдания к очищению в Пасхальные дни ("Христос Воскресе!", "На Пасху")

Стихотворение "Благовещение" выстраивается как безыскусный рассказ, тонкое наблюдение за жизнью Божьего мира и души в день "памяти Всехвальной Госпожи". Образ мира оказывается здесь двуплановым, ибо сквозь зримую серость дня проступает благодатный "пречудный свет" высшей радости, в земном ощущается сокровенное и чудесное, что повышает степень словесной экспрессии ("Без звонаря заколоколил Храм"), а молитвенное славословие в завершающих строках предстает как венец бытия лирического героя, его проникновенного монолога: "И все слилось в Архангельском лобзаньи: // Господь с Тобою, Дево Мариам!" (2,74).

Обращенный же к событиям Страстной седмицы поэтический цикл соединяет процесс самоуглубления поэта-певца в тайну личностного восприятия голгофской драмы и вселенские обобщения, основанные на вчувствовании в сокрытую динамику евангельских эпизодов. Особенно заметны здесь посвященные Входу Господню в Иерусалим стихотворения "Грядет Господь на вольное страданье…" и "Боюсь елейных глаз и прогибанья…", которые содержат, по существу, обобщение об изломах мировой истории, порожденных греховной "двуликостью" человеческой души: "И потому Распни таит Осанна, // И вайя претворяются в шипы…" (2,76). Показательна динамика интонационного рисунка в цикле, которая связана с нарастанием внутреннего трепета лирического "я" – от лирически-умиротворенных воспоминаний Великого Вторника о матери, открывшей герою знание о распятом и воскресшем Боге ("Матушке Зосиме"), изумленного видения милостивого самоотвержении Спасителя, "не оттолкнувшего стопы" Иуды на Омовении ("К великой милости взывает…"), к потрясенному сокрушению о человеческом падении в "день Великого Пятка", что проявляется во взрывных, предельно эмоциональных интонациях поэтической речи:

Так возлюбить! До Смерти! Боже! Боже!

Кого? За что? И кто вместил сие?

Собор убийц Любовь познать не может, –

И Мертвого пронзает копие! (2,81).

Жанровая близость многих стихотворений о.Романа молитвенному обращению к Богу в процессе как церковной службы, так и повседневного размышления о мире, во многом обусловлена глубинным родством его песенно-поэтического творчества апостольскому служению, призванному возвратить нации забытый опыт Богообщения.

Существенной в произведениях иеромонаха Романа становится и напряженная саморефлексия о себе как творческой личности, о философии творчества, духовном и общественном предназначении поэта.

Эти размышления связаны подчас у о.Романа с переосмыслением мотивов классической поэзии – как, например, в притчевом стихотворении "Когда вода самозамкнется…" (1991). В иносказательной форме поэт, вступая в творческий диалог с образным рядом пушкинских стихотворений "Осень" и "Пророк", мудро отмечает опасность вырождения поэзии, замкнувшейся на самой себе, превращения ее в "болотце", утратившее живую связь с источником Божьей благодати:

Когда листва с дерев спадает

(Сия пора воспета музой),

Ее метелкою сметают

И величают словом "мусор".

Когда пророк захочет сбиться

С пути, указанного свыше, –

Пророка обличит ослица

За то, что Бога не услышал… (1,18).

Сердцевина поэзии видится о.Роману в молитвенном делании, служении "Первому Поэту", в осмысленном несении креста самообуздания. Стихотворение "Страх Господень – авва воздержания…" (1991), с энергией его ударных хореических строк, отточенными до афоризма словесными образами может быть воспринято как программный манифест поэта, где раскрывается мистика катарсического очищения поэзии в молитве как высшей ипостаси творческого духа: "Воздержанье дарит исцеление. // Лучшая поэзия – молчание, // Лучшее молчание – моление…" (1,12). Своенравной игре муз, страстным порывам воображения, "заострению словес и рифм" противопоставляется "тихий" лиризм, вслушивание в тайные ритмы бытия Божественного творения: "О Боге пел. И только потому // Мой тихий голос Родина узнала…" (2,146).

Духовный аскетизм в осмыслении феномена творчества определяет особый характер картины мира в поэзии о.Романа. Само "я" поэта не величаво возвышается над миром, но с радостью ощущает себя малой частицей Божественного Универсума, "каплей", способной, благодаря молитвенной творческой энергии, "душой вобрать Животворящий Свет", нести "прохожим" опыт предстояния Творцу:

Не требуя к самим себе вниманья,

Напоминать прохожим об Одном –

Нет более великого призванья

Быть Божьей каплей на лугу земном! (2,150).

Концепция творческой личности в поэзии о.Романа несет в себе и трагедийные черты, так как подвиг служения поэта Богу и миру родственен не только апостольскому призванию, но и заключает образ крестной жертвы Спасителя. В стихотворении "Блажен, кто Истину не продал…" (1991) звучит ораторски приподнятое мудрое слово обличения гордого "витийствования" поэта, ложно понятой свободы – обличение, обращенное автором и к собственной душе. Подлинную духовную свободу художника поэт-певец усматривает в приближении к победе над "плотским "я"", в осознании им своего трагедийного призвания свидетельствовать об Истине "народам, шествующим во лжи". В данном стихотворении слово поэта, направленное на постижение непреложных законов мироздания, тяготеет к символической обобщенности, максимальной смысловой емкости и эмоциональной насыщенности:

Поэт – кто, суету отбросив,

Перечеркнет плотское "Я".

Поэт – всегда хоругвеносец

На крестном ходе бытия. (2,10).

Возникший в процитированном стихотворении образ "крестного хода бытия" вписывается в песенной поэзии о.Романа в целостную онтологию Пути, которая многопланово представлена во многих его произведениях.

В стихотворении "Сомненье – чадо маловерья…" (1991) напряженность духовного пути как собственного, так и христианина вообще порождена необходимостью ежечасного противостояния лживым "голосам" и соблазнам. Образ движения по нелегкой, но "благословенной" дороге "идущего к Богу" обретает здесь зримость и психологическую достоверность: "И я шепчу, теряя силы, // Кровавя скользкую дорогу…" (1,16). Истоки творимой поэтом художественной перспективы "пути-дороги" жизни восходят в его произведениях к лирическому образу "отчего дома", родного края. Так, в стихотворении "В отчем доме, старом и заброшенном…" (1992) рефлексия о начале пути озарена светлым воспоминанием о родной стихии, научившей героя в юности "напитать душу словом Божиим", а сам о.Роман предстает здесь как тонкий поэт-лирик, чей задушевный образ деревенской Вселенной окрашен местами в есенинские тона:

Желтая смородина потянется

Ветками в раскрытое окно.

Все худое где-то там останется,

Светлое останется со мной…

Мать моя затопит печку русскую,

Заиграют блики на стене.

Треск поленьев деревенской музыкой

Отзовется с дремою во мне… (1,42).

Сюжетная зарисовка эпизода из юности обретает здесь бытийное содержание: образ "страшного ледохода" с "безумством вод" несет интуицию о бурлящем и сбивающем с Пути "житейском море" и одновременно – о чуде Господней помощи: "Спас Господь! Не похоронен заживо, // Лед сошел, и отпустило дно…" (1,44).

Лирический герой о.Романа нередко предстает в образе странника, смиренно и вдумчиво воспринимающего "промоины", "бугры", "обрывы" земного пути личности и нации. В стихотворении "При слове "сорок" что-то оборвалось…" (1994) чувствование глубинного антиномизма "бранимой, ненавистной и любимой" "пути-дороги" жизни таит в себе напряженное стремление сохранить духовные ориентиры пути и выводит, по существу, к прозрению драматичной "зигзагообразности" истории жизни души, народа, человечества: "Забыв Фавор, взирая на Парнас // (И все-таки, скорбели о вершине, // Заглядывая в пропасти не раз)…" (1,104).

В стихотворении же "Полоскают меня други ближние…" (1994) образная антитеза символизирующей индивидуальный жизненный путь героя "свечи догорающей" и "метели-пурги" – энтропийной стихии жизни, истории – невольно наполняется пастернаковскими обертонами, идущими от мотивов "Зимней ночи" (1946) ("Мело, мело по всей земле…"). Но если у Пастернака подчеркивается настойчивое противостояние горения свечи разбушевавшейся метельной стихии современности, то в стихотворении о.Романа ядром нравственной позиции оказывается отказ от своей "самости", мудрое приятие Промысла, действующего и в "тьме кромешной":

И пути мои позавьюжены,

И следы мои похоронены.

<…>

Не о том печаль – дело Божее,

Все покроется Высшей Милостью… (1,120).

Стержнем Пути в песенной поэзии о.Романа оказывается его устремленность от земного к горнему, сквозь тернистый путь скорбей, падений и "спотыков" к чувствованию чуда Божьего мира, прозрению тайны райского блаженства, "небесного молчания вершин" – в стихотворениях "Жизнь прожить – не поле перейти…" (1996), "А я уже стою над перевалом…" (2000). Примечательна перекличка мотивов первого из них ("Жизнь моя! Как будто и не жил! // Что-то я сегодня загрустил, // Стоя одиноко у межи…") с философской элегией Есенина "Не жалею, не зову, не плачу…" (1922). Однако там, где у Есенина происходит драматичная борьба унылой Богооставленности оттого, что "все пройдет, как с белых яблонь дым", и благодарения судьбе за то, "что пришло процвесть и умереть", – у о.Романа слышится уверенность в христианском осмыслении земного пути как приближения к Вечности: "А лазурь такая впереди, // Что не жаль прошедшего пути" (1,151).

В стихотворении же "Надмирный Путь лампадно просветлен…" (2001) рисуется таинственный вселенский пейзаж, образ "небесного пути", обращающего "Благую Весть" о Творце на "грешный дол" и человеческую душу. Духовный восторг, рождающийся в соприкосновении пути личности с небесной "Премудростью", в благодатном "обожении" души, на словесном уровне выражен здесь в повышенной экспрессии сравнений ("Надмирный Путь… струится, как молитва боголюбца"), поэтике неординарного словообразования ("лампадно просветлен", "творение апостольствует нам", "не сиротите, обожите души"), а также в особой функции написания многих слов с заглавной буквы, в целом характерного для поэзии о.Романа и придающего соответствующим образам священный смысл ("Небеса", "Таинство великой Тишины", "Красота, не взысканная нами" и др.). Признаки лирической медитации органично соединены в стихотворении с жанровыми элементами проповеди, непринужденного назидания:

Надмирный Путь лампадно просветлен.

Струится, как молитва боголюбца.

И звездам тесен чистый небосклон, –

На грешный дол Благою Вестью льются.

<…>

Оставь земное. Выйди к Небесам.

Расстанься на немного с суетою.

Творение апостольствует нам,

А мы закрыли души на святое… (2,39).

Онтология Пути сопряжена в поэзии о.Романа и с прозрением судеб России в истории и современности, глубин и кризисных явлений русского духа. Песни о.Романа о России характеризуются модальностью прямого пастырского обращения к соотечественникам, соединением художественного и публицистического начал.

Странствия по России, пронизанные молением за родные края, становятся для лирического героя и путем покаянного самоуглубления: "За все свое, несытая душа, // Я обречен, как Вечный Жид, скитаться…" (1, 52). Символика же пространственных образов сводит воедино тоскующие без покаяния "неуютные края" Отечества и жаждущую исцеления человеческую душу: "Земля моя, ты, как душа моя, // Таишь и благодать, и безысходность…". В стихотворении "Я к вам приду от северных земель…" (1992) герой – "запыленный, неузнанный скиталец" по Руси, ощущает свою причастность ее крайним, северным пределам, "метущей российской пурге", напоминающим о суровых потрясениях на историческом пути.

Живо ощущая прославленную предшественниками "всечеловечность" русской души ("Моя душа вмещает все народы: // На то она и русская душа"), поэт-певец обращен и к постижению ее проявившихся в современности болезненных сторон – как, например, в лирической сюжетной зарисовке "Я проплывал на старой барже…" (1994). В центре здесь – нарисованный со скорбным чувством и насыщенный красноречивыми бытовыми деталями психологический портрет "рыбака пропитого":

Кричал на ухо одесную,

Мол, окрещен, хоть нет Креста,

Рукой, что помнит мать родную,

Иконку стертую достал.

И, показав, вложил обратно,

И замолчал, и закурил… (1,125).

В символически звучащем вопросе к "перевозчику случайному" ("Туда ли правишь, дорогой?") слышится не высокомерное обличение, а пастырское искреннее участие к судьбе, утратившей непосредственное знание о Боге, бесхитростной русской душе. Сквозь суетливую речь рыбака ("о том, о сем – похоже, врал…") молитвенное чувство лирического "я" - странника и вдумчивого созерцателя парадоксов национального бытия - различает забытые, но не утраченные вовсе духовные потенции русского характера. А потому образный ряд стихотворения ("иконка стертая", "старая баржа", плывущая "под колокольный перезвон" на фоне "чистого небосклона") обретает и обобщенно-символическую перспективу.

Радостное видение неуничтожимой причастности отчего края Божьей благодати ("О, когда бы все Творца познали! // Был бы Рай на Родине моей") сплавлено в стихах о.Романа с голгофскими ассоциациями, все отчетливее проступающими в "горькородной воде бытия" страны: "Я назвал бы Россию Голгофой, // Но Голгофа одна на земле…" (1,41). Более того, отзвуки голгофской драмы герой различает и в природном бытии малой Родины. Так в стихотворении "Мой старый вяз, тебя уж нет…" (1994) гибель старого дерева становится для лирического "я" символическим духовным уроком:

Пример особый навсегда

Своею смертью преподал:

Тем, кто тебя четвертовал,

Тепло души своей отдал… (1,98).

Многие лирические монологи о.Романа о малой Родине, родной брянской земле, "половодье матушки Десны" ("Я пока не позабыл былого…", "Прости, Господь, быть может, искушенье…", 2001 и др.) перерастают в горестное моление о заблудшей нации, грустно-снисходительное обращение к которой усиливает ощущение живой причастности поэта к народному горю, забвению Божьего Храма:

И Он стоял, запушен и обобран,

Пока кому-то не вселилась блажь.

И мой народ, озлобленный и добрый

Его переустроил под гараж… (2,40).

В стихах о.Романа о России пронзительный лиризм активно впитывает в себя и публицистическое начало, привносящее в разговор о дне сегодняшнем остроту и нелицеприятность, и элементы духовного поучения, которое обращено к мыслящим соотечественникам, уставшим от "бездорожья" в национальном бытии ("Великоросс! Какая высота…", "Как мы жили? Себя похабили…", "Дорогие мои, это все…", "Триединая Русь" и др.).

В песне "Как мы жили? Себя похабили…" (1994) размеренный ритм строк с протяжными дактилическими окончаниями создает атмосферу беседы о тягостных последствиях исторического опыта ХХ столетия. Повествовательная форма "мы" подчеркивает принципиальную недистанцированность пастыря-певца от боли современников и позволяет воспринять произведение как акт напряженного национального самоосмысления. В стилевом плане важны здесь элементы фольклорной образности (образы Кривды, "воли вольной"), характерные в целом для языка поэзии о.Романа и особенно заметные в специфических словесных повторах ("путь-дорога", "метель-пурга", "тоска-печаль"); а также обороты разговорной речи ("э, да что теперь…" и др.). Это создает двойной художественный эффект и вразумляющего обращения поэта к согражданам, и одновременно звучания горестного голоса самого народа, приносящего исповедь Творцу, "Веру в Высшую правду выстрадав":

Волю вольную спьяну отдали,

Измеряли в карцерах метрами.

Согласились и стали уродами,

Несогласные стали жертвами… (1,114).

В интонационном рисунке стихотворения "Дорогие мои, это все!.." (1997), наполненного эмоциональными обращениями к Родине, прослушивается созвучие со стихами о России Блока ("Русь моя! Боль моя! Что с тобой!"). Общим с блоковским циклом "На поле Куликовом" становится в стихотворении о.Романа онтологический угол зрения на истоки российской смуты ("разгулялись в открытую бесы") и, что особенно примечательно, духовный императив очищающего Подвига – ради преодоления греховного состояния и исцеления "больной родины":

О, народ мой! Довольно дремать

Помолись перед Подвигом Богу.

Православная Родина-мать!

Двери ада тебя не возмогут!.. (1,179).

Россия раскрывается в произведениях о.Романа и в неповторимой ауре ее природного Космоса. Более того, самые разнообразные лирические пейзажи можно рассматривать как особое жанровое образование в его поэзии.

Одним из ключевых свойств пейзажной образности о.Романа является органичное сопряжение земного и Вселенского, космически-бесконечного. В таких стихотворениях, как "Блажен, кто, наполняясь тишиной…", "Село Рябчевск!.." (1994), в "обыденных" проявлениях природной жизни ("в любой букашке и любом листе, в мерцанье звезд") угадывается "Дыханье созидающего Духа", пути к Богопознанию. Внутреннему зрению сосредоточенной на Божественном Творении души открывается образ Вечности: "Я усмотрел отверженную Вечность, // В заветной выси – Высшее постиг…" (1,134). В образе души, родственной космической беспредельности, поэтике возвышенно-архаического слова ("О небеса! Отверстые, без края"), тенденции к "овеществлению" отвлеченных образов ("Из этих мест до Вечности – рукой. // Ее дыханье за ближайшим стогом…"), в значимом употреблении сложных лексических форм ("жизнеликующая зелень и духоносная лазурь", "мир светоликует", "чудопревращенье", "отрешенно-чутки дерева") сказывается типологическая причастность не только лирике Ломоносова, Тютчева, но и процессам обновления образного языка, активизировавшимся в поэтической культуре Серебряного века. В самом сотворении природного и человеческого бытия "Первым Поэтом" герой поэзии о.Романа с благоговением отмечает непостижимую загадку мироздания, с чем связаны актуализация сказочных мотивов, рождающихся в тайных "соответствиях" между явлениями "подлунного мира" ("Окошки от мороза поросли // Невиданною, сказочной ковылью"); отмеченная выше значимость заглавных букв ("Свечение Немеркнущего Света"); частое преобладание коротких, назывных синтаксических конструкций, которые штрихами очерчивают приметы таинственного Божьего мира, не нарушая земным суесловием его безмолвия: "Луна и снег. И шорохи вдали… // Обилие и полногласность звезд. // Мерцание, созвучное хваленью…" (1,103).

Смыслообразующими в пейзажной лирике о.Романа оказываются ассоциации при-родного бытия с жизнью Божьего храма, богослужебным действом. Подобные ассо-циации встречались в предшествующей поэтической традиции – к примеру, в лирике Есенина ("Запели тесаные дроги…", "Я последний поэт деревни…" и др.), Пастернака ("Август", "Когда разгуляется"), однако в поэзии о.Романа они разработаны более де-тально, с учетом тонкого видения изнутри таинства церковной службы. Присутствие же этих образов в песнях, ориентированных на самую широкую слушательскую аудиторию, выполняет важную проповедническую задачу: через эстетическое впечатление приводит к пониманию духовной красоты и внутренней соразмерности богослужения, его необходи-мости для человеческой души.

Церковная символика может проявляться здесь как в отдельных сравнениях ("лам-пады звезд", "Рождественская фата дерев", "птицы-богомолки" и др.), так и в разверну-тых образах различных типов служб. В стихотворении "Я сегодня уже не усну…" (1993) это образ совершаемого во Вселенной и в обратившейся к Богу душе всенощного бденья, который детализирован упоминанием о "стихирах созвездий": "Мокрый ясень глядит на луну, // Правит Богу всенощное бденье…" (1,60). В "Сиреневом рассвете" (1996) радость предрассветной службы, которой с готовностью делится лирический герой, переносится и на образ мира, где "кадит рассвет премудрости Твоей": "И птахи славословят антифонно // По знаку канонарха соловья" (1,161). Образ земного и небесного мира увиден в стихо-творении "Уже заря. Хотя еще не лето…" (2001) в виде модели храмового пространства – как с основными частями его внутреннего ансамбля ("И облака расходятся Вратами…"), так и в неотъемлемых деталях церковной жизни:

Так чудно, так похоже на Служенье,

И здесь поют хоры, и здесь кадят,

И птицы-богомолки без движенья

На ветках, как на лавочках сидят… (2,111).

В стихотворении же "Ах, как птицы поют! Как в неволе не спеть!.." (1996) мерный "Акафист" птичьего пения призван напомнить в эпоху смуты и нестроений о неуничто-жимом ядре духовности на русской земле:

Где ж вы, судьи мои? Я пред вами стою

И готов головой заручиться,

Что, покуда у нас так пред Богом поют,

Ничего на Руси не случится! (1,165).

Образы природы в стихах о.Романа порой таят в себе притчевое иносказание. Например, в стихотворении "Я сегодня уже не усну…" образ ясеня, стремящегося отойти от земного ради сокровенного знания о "письменах Небосвода", воплощает жаждущую общения с Творцом душу, которой "нелегко на миру, отрешаясь, в молитве забыться" (1,59). А в стихотворении "Величье рек – в покое вод…" (1993) в параллелизме "мелководных речушек" с людской поверхностной суетливостью раскрывается мудро-снисходительное священническое знание автором человеческих недугов и страстей:

И люди гонят тишину

И призывают беспогодье,

Боясь узреть не глубину, –

А собственное мелководье. (1,72).

Притчевость оказывается одним из ключевых свойств художественного мышления о.Романа. Обращение поэта-певца к данному жанру обусловлено как внутренними особенностями его творческой индивидуальности, так и стремлением посредством простых притчевых образов привести слушателя к знанию о Христе, найти отклик в значительном числе душ, каждая из которых на ей доступном уровне проникнет в существо поэтической притчи. При этом источники притч в поэзии о.Романа весьма разноплановы – от осмысления евангельских притчевых образов и сюжетов до обобщающе-символических прочтений преданий прошлого, а также собственных наблюдений над миром, человеческой душой и даже потаенными, "сновидческими" недрами своей личности ("Гильотина", "И вижу сон…", 2001).

В основе стихотворения "А жатвы много. Делателей мало…" (1993) евангельское притчевое иносказание, возникающее в напутственном обращении Христа к ученикам-апостолам. У о.Романа образ невозделанной жатвы ассоциируется с родной землей и отчуждением от нее русского человека, к которому поэт обращается с дружеским увещеванием, где образы "жатвы" и "делателя" с "нравом неверного раба" получают художественное развитие:

А жатвы много. Делателей мало.

Но кто же ты, стоящий у межи?

Иль своего душа не принимала,

Что ищешь зерна в терниях чужих?

Тебе свое давно уже не мило,

Забыл о том, что все на нас войной,

И к той земле, которая вскормила,

Оборотился гордою спиной… (1,75).

Обращение к притчевым образам важно и в процессе покаянного самоосмысления героем стихов о.Романа. В стихотворении "Видать, до гробового вздоха…" (1995), обращаясь к своей погруженной в греховное состояние душе, герой с болью видит в ней недолговечные ростки духовности, что произрастают из семени, которое посеяно, согласно Христовой притче, при дороге:

Не сам ли сеял у дороги?

Что ж от кручины издыхать?

Чего глазеть на злак убогий?

Готовься жать. (1,130).

Противоречивое переплетение в современной душе привязанности ко греховной страсти и жажды избавления от нее запечатлевается в произведениях о.Романа в евангельском образе Лотовой жены, которой в молитвенном самоуничижении уподобляет себя герой стихотворений "Изнемогая от потерь…" и "Я пойду, где стоят корабли…" (1995). Пронзительность обращения к Богу усиливается здесь сплошными мужскими рифмами (всюду с ударением на последнем слоге в строке), создающими повышенное интонационное напряжение, эффект отрывистости сокрушенной речи. Рефлексия о пути ко Творцу вбирает в себя и понимание своего маловерия, проступающего даже в молитвенном делании. Если же учесть, что в евангельских словах Христа напоминание о "жене Лотовой" звучит в контексте разговора о Судном дне, когда "Сын Человеческий явится" (Лук.ХVII, 30-32), то в подтексте стихотворений о.Романа видится внутреннее приготовление осознающего свой грех человека к предстоянию на Страшном Суде:

Подобно лотовой жене

Пытаюсь кары избежать.

Спешу к желанной стороне,

Взирая, окаянный, вспять.

Прости меня, когда молясь

В земных поклонах бью челом,

Перебираю четок вязь,

И стыну соляным столпом. (1,137).

Ярким явлением притчевой поэзии о.Романа стало и стихотворение "Блудный сын" (2001). Поэтическое переложение известной евангельской притчи, заостряющее драматичные перипетии ее сюжета, существенно обогащается лирическими "вкраплениями", где звучит голос лирического "я", поначалу кратко комментирующего события, а в завершении соединяющего свой покаянный голос с обращением к Отцу раскаявшегося сына. "Внутренняя драматургия" произведения основана на живом звучании голосов героев притчи и повествователя, который уже в первых строках определяет свой эмоциональный настрой в отношении к происходящему ("Одно из мест Евангельского чтенья // Волнует сердце скорбью без конца"), затем пристально, давая свои "ремарки" ("Надежда укрепляет"), наблюдает за очистительным порывом блудного сына, психологическими деталями его речи: "А в горле комом – грешен пред Тобою. // И называться сыном нету сил…" (2,32). Далее, внутренне противясь всяческому безжалостному благочестию, герой проводит глубокое сопоставление "Праведности" старшего сына и милующей Любви Отца – сопоставление, в котором ощутимо знание о нелегком опыте не только мирской, но и внутрицерковной жизни:

Одна Любовь приемлет и спасает.

Она уже – Награда без наград.

А Праведность без Оной обрекает

Стоять столпом у растворенных Врат…

Повышенная стилевая экспрессия заключительного покаянного обращения блудного сына и одновременно самого лирического "я" к Отцу сопряжена с расширительной интерпретацией притчевых образов, с контрастом возвышенного слога и намеренно сниженной самохарактеристики:

Я жрал рожцы мечтаний и деяний,

И был рабом у общего врага.

Изведал горе горькое скитаний,

И не дерзаю пасть к твоим ногам.

И, все-таки, когда приду с Надеждой,

Убогости моей не отвратись.

Я обойдусь без дорогой одежды –

Мне без тебя уже не обойтись. (2,33).

В смысловом отношении к этой поэтической притче близки и стихотворение "Не сохранила Божье, не сумела…" (1994), в котором герой воспринимает себя в качестве "потерянной драхмы", освещенной, как и в евангельской притче, Божьей Милостью (Лук. ХV, 8-10), и стихотворение "И за что мне сие?…" (2001), где притчевый образ человека, пришедшего на Пир в "небрачной одежде", спроецирован на судьбу героя – странника, взыскующего Бога. Сам образ небрачной одежды получает здесь несколько иное, по сравнению с евангельским текстом (Мф. ХХII, 12,13), истолкование, ассоциируясь не только с отчуждением от Бога, но и с многотрудным путем к Свету, тяжесть которого передана в замедленно-протяжных строках, где слова произносятся героем на пределе душевных и физических сил:

Ах, какие дороги-пути перевыстрадал за день!

Диво то, что дошел, хоть и места небитого нет.

Что не спросишь меня, почему я не в брачном наряде?

Видно знаешь, что мне просто нечего молвить в ответ… (2,54).

Итак, евангельские притчевые образы преображают художественную ткань произведений о.Романа, соотнося духовный путь его лирического "я" с исканиями и падениями героев известных притч. Эти образы раскрывают колоссальный заряд молитвенного, покаянного устояния героя поэзии о.Романа в борьбе со грехом и, воскрешая в сознании современников евангельские архетипы, приближают через доступные многим простые слова Христовых притч к глубокому восприятию Его учения.

Поэтические притчи иеромонаха Романа могут быть основаны и на услышанных автором сказаниях о событиях прошлого. В лирической "мининовелле" "Я посетил в Румынии собор…" (2001) это рассказанное "преданье старины седой" о храмостроителе, который пожертвовал ради сохранения Храма женой и неродившимся ребенком, – предание, заключающее в своем трагическом звучании ощущение неисповедимости Промысла: "Благословен Всевышний и за то, // Что мы не знаем, что за поворотом…". Важны здесь размышления рассказчицы ( в стихотворении создается атмосфера доверительного сказового повествования) и слушателей о смысле христианской жертвенности: "Какую цену Красоте даем? // Какую жертву Красоте приносим?.." (2,126). В "Были" (2001) сказ-исповедь героини (отражение священнического опыта автора) о том, как в войну она побоялась спасти от расстрела прятавшихся от полицаев детей, обретает символический смысл, открывая в земных перипетиях слабость человека в понимании Божьего Замысла о его судьбе: "Два ангела явились за душою, // А ты им указала на порог…" (2,98). Притчевый рассказ о соблазне осуждения ближнего, настигающего даже подвижников, звучит в стихотворении "Случай" (2001), где минутная немощь несправедливо осудившего брата старца-отшельника сменяется в его душе глубочайшим сокрушением о грехе ("О Господи! Я брата осудил!). Притчевые иносказания сопровождаются у о.Романа лирическими комментариями, обращениями к героям, апелляциями к будничным житейским ситуациям, что создает эффект живой сопричастности автора переживаемым ими духовным испытаниям:

Что делать оклеветанному старцу?

Не каждый понесет напрасный стыд.

Мы сразу бы помчались разбираться,

Но потому-то мы и не святы… (2,105).

Диалог с героем важен и в песне-притче "И Млечный Путь, и кроткий полумесяц…" (1992), прорастающей из пейзажной поэзии о.Романа. Контраст таинственных красот ночной Вселенной и не чувствительного к ним персонажа – кормчего, глядящегося в состоянии Богооставленности и солипсизма "в отраженье черное свое", нацелен на обобщающее постижение судьбы отдалившейся от Бога человеческой души: "В дорожке лунной челн застыл бесшумно, // Знать, не к кому и незачем грести…" (1,40). Сочувственный взор пастыря на уныние утратившего Путь кормчего ("погрузился в думы, головушку руками обхватив") перерастает во взволнованное обращение к нему , противопоставление тоске героя опыта жизни во Христе:

Гони кручину, призывая Бога,

Остави отражение-тоску,

Под небом звездным лунною дорогой

Плыви к тому живому огоньку. (1,40).

Разнообразные по своим источникам, образной системе и тональности поэтические притчи о.Романа явили действенную силу этого древнего жанра и в свете современного художественного опыта. Напряженная сюжетная динамика притч о.Романа, соединение в них "голосов" и жизненных позиций различных персонажей с проникновенными размышлениями лирического "я" способствуют приобщению слушательской аудитории к граням многовекового религиозного опыта, в житейских и обыденных ситуациях раскрывают духовное содержание человеческих поступков и помышлений.

Уединенная сосредоточенность, самоуглубленность лирического героя поэзии о.Романа сочетается с активной социальной позицией – например, в гражданских стихах о России, с потребностью в прямом, проповедническом по существу обращении к миру. В этом смысле песнопениям и стихам о.Романа близко то проповедническое начало, которое было коренным свойством отечественной литературы и культуры. Наследуя через века древний жанр духовной проповеди и поучения, поэт-певец творчески использует его, обращаясь к современному человеку.

В поэтических проповедях о.Романа сердечное сокрушение о греховности человеческой природы, мудрая ирония над беспечностью в духовной жизни ("Не торопитесь подвизаться за шумным праздничным столом") сращены с осмыслением и собственного несовершенства: "Дай Боже выплыть самому…" (1,128). Выполняя важную просветительскую функцию, эти проповеди часто построены с использованием ораторских приемов (восклицаний, риторических вопросов, ярких сопоставлений, иносказательных образов), которые усиливают их эвристическую ценность. Например, вразумляющие назидания поэта призваны поколебать обыденные неверные представления о молитвенном труде ("Доколь искать пленительное счастье?..",1996; "Мы молимся, но для чего – не знаем…", 2001), сущности общения человека с Богом:

Бог судит не по знанью – по смиренью.

Что наше знанье? – тягостный обман…

Господь взыскует нашего горенья,

А не потуг холодного ума.

Не потому ль так тянется прохожий

На огонек, светящийся в ночи.

…Огарок, но горящий, мне дороже

Большой непламенеющей свечи. (1,167).

Подобно тому, как когда-то митрополит Филарет (Дроздов) дал свой наставительный ответ на пушкинское стихотворение "Дар напрасный, дар случайный…", о.Роман в стихотворении "Ты воздохнул: – "Так хочется покоя!.." (2001) откликается на "Парус" Лермонтова и размышляет о метущемся духе не только поэта-романтика, но и зачастую современного, отдалившегося от Бога человека. Лермонтовская антиномия бури и покоя получает здесь христианское переосмысление: в покое видится воплощение райского блаженства, противопоставленного суетным бурям, одолевающим душу лирического героя стихотворения. Здесь вырисовывается онтология рая и жизни во Христе, требующей от человека духовной готовности, сосредоточенности внутренних сил:

Готов ли сам к тому, что сердце просит?

Желанный Край не всякий понесет.

Там нет волны, которая возносит,

И нет волны, которая зальет.

Ночь никогда туда не подступает.

Печаль-кручина не надсадит грудь.

Там паруса никто не подымает.

Зачем они, когда закончен путь?.. (2,27).

Повышенной эмоциональности лермонтовского произведения в стихотворении о.Романа соответствует мудро-уравновешивающее слово, окрашенное едва заметной иронией и проникнутое глубоким пониманием истоков душевной неуспокоенности автора "Паруса" – слово, которое зиждется на Евангельском образе "Царствия небесного внутри вас":

Суши весло. Намореходил вдосталь.

Она в тебе – заветная Страна.

Но буря держит, вырваться непросто

Тому, кого баюкает волна.

Обобщая сказанное, отметим существенную духовную и социальную значимость как самого песенно-поэтического творчества иеромонаха Романа, так и факта широкого распространения его песен в современном российском обществе. Поэзия о.Романа, органично продолжающая просветительские традиции древней монашеской культуры, апостольского служения, возвращает современному художественному сознанию утраченную в постклассическую эпоху целостность. Эта поэзия представлена самыми разными жанровыми образованиями – такими, как лирическая исповедь, молитва, проповедь, философская и пейзажная элегия, притча, мининовелла, – которые в совокупности формируют единую православную художественную модель бытия. Данное единство раскрывается в онтологическом, культурном, социально-историческом ракурсах: в прозрениях о судьбе России, сущности творческого призвания, бытии природного космоса; в новом осмыслении коллизий евангельских сюжетов, собственного молитвенного и пастырского опыта. Глубокое песенное творчество сознательно удалившегося от мира поэта-проповедника привносит в мирскую жизнь значительный заряд духовной сосредоточенности и трезвения.